

Константин Симонов

МАЛЫШКА

На Кубани стояла дождливые осенние дни. Дороги, по которым проехало неисчислимое количество колес, стали почти непроходимыми: машины то буксовали в грязи, то с треском подпрыгивали на кочках и колдобинах. Армия отступала, шли бои, но немецкие танковые колонны каждый день прорывались в тыл то на одну, то на другую дорогу, и обозы, тыловые учреждения, госпитали каждый день меняли свои места, откочевывая все глубже и глубже на юг.

В пять часов вечера на передовых, у разбитого снарядом сарая, остановилась старенькая санитарная летучка — дребезжащая, расшатанная машина с дырявым брезентовым верхом. Из летучки вылезла ее хозяйка — военфельдшер Маруся, которую, впрочем, никто в дивизии по имени не называл, а все называли Малышкой, потому что она и в самом деле была настоящая малышка — семнадцатилетняя курносая девчонка с тонким детским голосом и такими маленькими руками и ногами, что, казалось, на них во всей армии не подберешь ни одной пары перчаток и сапог.

Малышка соскочила с машины и, как всегда, торопливо и отчетливо, стараясь придать своему хорошенъкому лицу строгое выражение, спросила:

— Где раненые?

Санитар, отодвинув разбитую створку двери, повел Малышку внутрь сарая. Там на грязной соломе лежали семь тяжелораненых. Малышка вошла, посмотрела, сказала:

— Ну вот, сейчас я вас отвезу, — и потом еще что-то ласковое, что она всегда говорила раненым, а в это время ее привычный взгляд незаметно скользил с одного на другого. Лица у всех были бледные, солома местами промокла от крови. Троє лежали с перебитыми ногами, двое были ранены в живот и грудь, двое — в голову. Малышка физически, всем телом вспомнила ту дорогу, которую она только сейчас проделала из медсанбата — двадцать километров страшных рытвин и ухабов — и представила себе опять эти толчки и падения уже не на своем теле, а вот на этих кровоточащих, израненных телах, лежащих перед ней на земле. Она даже поморщилась, словно от боли, но сейчас же вспомнила свои обязанности, как она их понимала, и на ее лицо вернулась обычная добрая улыбка.

Сначала она с санитаром перенесла тех, кто был ранен в ноги, — их положили в кузов впереди, ближе к кабине. Потом перетащили еще троих. Теперь в летучке уже не оставалось места, и седьмого некуда было положить. Он полусидел у стенки сарая и то открывал, то снова закрывал глаза, впадая в забытье. Малышка в последний раз вошла в сарай. Этого седьмого раненого приходилось оставить до следующей летучки. Но когда она вошла и сделала шаг к нему, чтобы сказать об этом, он, видимо, понял ее движение так, как будто его сейчас тоже возьмут, и, пытаясь приподняться, потянулся навстречу. Малышка встретила его взгляд — мучительный, терпеливый, такой ожидающий, что, несмотря ни на что, оказалось невозможным оставить его здесь.

— Вы можете сидеть в кабине, а? — спросила она. — Сидя ехать можете?

— Могу, — сказал раненый и снова закрыл глаза.

Малышка вдвоем с санитаром вывела его из сарая, просунув свою голову ему под мышку, дотащила до машины и усадила в кабине на свое место.

— А вы, товарищ военфельдшер? — спросил шофер.

И раненый, почувствовав в этих словах шофера упрек себе, тоже тихо спросил:

— А вы где?

— А я на подножке, — сказала Малышка весело.

— Свались, — угрюмо заметил шофер.

— Не свалюсь, — ответила Малышка и, захлопнув за раненым дверцу, стала на подножку.

— Товарищ военфельдшер... — начал снова шофер.

Но Малышка крикнула, чтобы он ехал, тем строгим, не допускающим возражений

голосом, который появлялся у нее тогда, когда дело касалось раненых и когда окружающие не понимали, что она, Малышка, лучше кого бы то ни было знает, что нужно делать, чтобы раненым было лучше.

Летучка тронулась. Сегодня с полудня дождь перестал, и дороги с чуть подсохшей грязью были особенно скользкие. На рытвинах летучка, как утка, переваливалась с боку на бок, вылетала из колеи и подпрыгивала с треском, который больно отдавался в ушах Малышки. Она чувствовала, как в этот момент в кузове раненых приподнимало в воздух и ударяло о дно машины. Один раз она сама чуть не свалилась на ухабе, но, все-таки удержавшись, сейчас же сама себе улыбнулась той улыбкой, которая у нее всегда появлялась после пережитой опасности.

К хуторку, где располагался санбат, подъехали уже перед самой темнотой. Малышка, соскочив с подножки, побежала к знакомой хате, но около хаты, к ее удивлению, не было заметно обычной суеты. Она вошла в хату: там было пусто. В следующей было тоже пусто. Только хозяйка безучастно стояла у кровати, перевертывая то на одну, то на другую сторону промокший от крови тюфяк.

— Уехали? — спросила Малышка.

— Да, — сказала хозяйка. — Вот уж час как уехали. Сообщение какое-то к ним пришло, сложили все и уехали.

Малышка вернулась к своей летучке и, откинув брезент, заглянула внутрь кузова.

— Что, выгружаемся, сестрица? — спросил старый казак, раненный в голову и в лицо и перевязанный так, что из-под бинтов торчали только одни его лохматые седые усы.

— Нет, милый, — ответила Малышка. — Нет, пока не выгружаемся. Уехал отсюда медсанбат. Мы прямо в госпиталь поедем.

— А далеко это, сестрица? — спросил раненный в живот, лежавший навзничь, и застонал.

— А ты зря языком не трепи, — сердито сказал ему усатый. — Сколько будет, столько и поедем.

И Малышка поняла, что усатый рассердился не на вопрос «далеко ли?», а на то, что раненый стонет при ней. У нее дрожали руки — не от холода, а от усталости, оттого, что всю дорогу приходилось крепко цепляться, чтобы не упасть.

— Замерзли, сестрица? — спросил усатый.

— Нет, — сказала Малышка.

— А то мы потеснимся, садитесь к нам в кузов.

— Нет, — сказала Малышка. — Я ничего. Поедем поскорей.

Она снова стала на подножку, и машина двинулась. Было уже совсем темно. До госпиталя осталось еще двадцать километров. Пошел дождь. Дорога становилась все хуже и хуже. Где-то далеко слева виднелись вспышки орудийных выстрелов. Мотор два раза глох, шофер вылезал и, чертыхаясь, возился с карбюратором. Малышка не плакала. Во время этих остановок ей казалось, что вот так, как сейчас, она продержится, а если слезет, то онемевшие пальцы совсем откажут ей. По ее расчетам, машина уже проехала километров пятнадцать, когда начался дождь. Ветер дул навстречу, и косой дождь валил, заливая лицо и глаза. Ей много раз казалось, что она вот-вот свалится.

Наконец они добрались до села. Когда шофер выключил мотор, Малышке почудилось что-то недоброе в той тишине, которая стояла в селе. Она соскочила с машины и, по колени проваливаясь в грязь, побежала к дому, где — она знала — помещался госпиталь. Около дома стояла доверху груженная полуторка, у машины возились двое красноармейцев, пытаясь еще что-то втиснуть в кузов.

— Здесь госпиталь? — спросила Малышка.

— Был здесь, — сказал красноармеец. — Уехал два часа назад. Вот последние медикаменты грузим.

— И никого, кроме вас, нет? — спросила Малышка.

— Никого.

— А куда уехали?

Красноармеец назвал село за сорок километров отсюда.

— Никого тут? Ни врача ни одного, никого? — еще раз спросила Малышка.

— Нет. Вот нас задержали тут, чтобы направляли, кто будет приезжать.

Малышка побрела к летучке. Пять минут назад ей казалось, что вот-вот сейчас все это кончится, сейчас они приедут: еще пригород, еще поворот, еще несколько домов — и раненые будут уже в госпитале. А теперь еще сорок километров — еще столько же, сколько они проехали.

Она подошла к летучке, посветила внутрь фонариком и произнесла:

— Товарищи...

— Что, сестрица? — спросил старый казак тоном, в котором чувствовалось, что он все понимает.

— Уехал госпиталь, — сказала Малышка упавшим голосом. — Еще сорок километров до него ехать. Ну, как вы? Ничего вам, а? Потерпите?

В ответ послышался стон. Теперь застонали сразу двое. На этот раз усатый не прикрикнул на них.

— Дотерпим, — сказал он. — Дотерпим. Ты откуда сама-то, дочка?

— Из-под Каменской.

— Значит, песни казачьи знаешь?

— Знаю, — сказала Малышка, удивленная этим вопросом.

— «Скакал казак через долину, через маньчжурские края» знаешь песню? — спросил усатый.

— Знаю.

— Ну вот, ты вези нас, а мы ее петь будем, пока не довезешь. Чтоб стонов этих самых не слыхать было, песни играть будем. Поняла? А ты нам тоже подпевай.

— Хорошо.

Она стала на подножку, машина тронулась, и сквозь всплески воды и грязи, гудение мотора услышала, как в кузове сначала один, потом два, потом три голоса затянули песню:

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края,
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке...

Дорога становилась просто страшной. Машина подпрыгивала на каждом шагу. Казалось, вот-вот сейчас она перевернется и упадет в какую-нибудь яму. Дождь превратился в ливень, перед фарами летела сплошная стена воды. Но в кузове продолжали петь:

Она дарила, говорила,
Что через год буду твоя.
Вот год прошел. Казак стрелою
В село родное поскакал...

Незаметно для себя она тоже начала подпевать. И когда запела, то почувствовала, что, наверное, им в кузове в самом деле легче оттого, что они поют, и если кто-нибудь из них стонет, то другие не слышат.

Через десять километров машина стала. Шофер снова начал прочищать карбюратор. Малышка слезла и заглянула в кузов. Теперь, когда мотор не шумел, песня казалась особенно громкой и сильной. Ее выводили во весь голос, старательно — так, словно ничего другого, кроме песни, не было в эту минуту на свете:

Навстречу шла ему старушка

И стала речи говорить... —

заводил усатый хриплым сильным голосом.

«Тебе казачка изменяла,
Другому счастье отдала...» —

подтягивали другие.

Малышка снова засветила свой фонарик. Луч света скользнул по лицам певших. У одного стояли в глазах слезы.

— Загаси, чего на нас смотреть, — сердито сказал усатый. — Давай лучше подтягивай.

Заглушая стоны, песня звучала все сильней и сильней, покрывая шум барабанившего по мокрому брезенту дождя.

— Поехали! — крикнул шофер.

Машина тронулась.

Пропев до конца песню, раненые начинали петь ее сначала. Глубокой ночью, когда на окраине станицы санитары вместе с Малышкой подошли к летучке, чтобы наконец выгрузить раненых, из кузова все еще лилась песня. Голоса стали тише, трое молчали, должно быть, потеряли сознание, но остальные пели:

«Напрасно ты, казак, стремишься,
Напрасно мучаешь коня».
Казак свернул коня налево.
Во чисто поле поскакал...

— До свидания, сестрица, — сказал усатый, когда его клали на носилки. — Значит, под Каменской живешь. После войны приеду за сына сватать!

Он был весь мокрый, усы по-запорожски обвисли вниз. Но в последний момент Малышке показалось, что его забинтованное лицо осветилось озорной улыбкой.

Она заснула в приемном покое не раздеваясь, присев на корточки у печки. Ей снилось, что по долине скакет казак, а она едет в своей летучке и никак не может догнать его, а летучка подпрыгивает, и Малышка вздрагивает во сне.

— Замучилась, бедная, — сказал проходивший врач.

Вдвоем с санитаром они стащила с нее промокшие сапоги и, подложив под нее одну шинель, накрыли ее другой.

А шофер, который был настоящим шофером и, уже приехав, все-таки не мог успокоиться, не узнав, что такое с проклятым карбюратором, сидел в хате с другими шоферами, разбирал карбюратор и говорил:

— Восемьдесят километров проехали. Ну, Малышка — ясно — она и черта заставит ехать, если для раненых нужно, одним словом — сестра милосердная.

7 марта 1843 г. «Красная звезда»